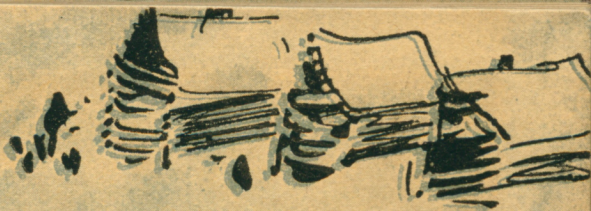


К. Таушевский



**СУДЬБА
ШАРЛЯ ЛОНСЕВИЛЯ**







Константин Паустовский

СУДЬБА ШАРЛЯ ЛОНСЕВИЛЯ

*Рисунки и переплет
Т. А. Мавриной*



ОГИЗ • МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

1 9 3 3

Г Л А В А П Е Р В А Я



Маршаль Лонсевиль, инженер по литью пушек, был взят в плен под Можайском во время отступления из Москвы наполеоновской армии. У Лонсевиля была отморожена нога. Старый мундир пропах гарью пожарищ, глаза слезились от блеска снегов.

Несколько раз за время жизни в России Лонсевиль упоминал, что был когда-то бонапартистом. Суждения его в этой области отличались наивностью. Он считал, что Бонапарт пронес на своих знаменах через все страны Европы веяние великой революции.

Лонсевиль любил говорить о стальном солнце Аустерлица и неверной славе Бородина. Приятнее было думать о революции, нежели о грубой генеральской диктатуре, о пении боевых фанфар в тени германских лип, нежели о возвращении земель аристократам.

Он был благодарен Бонапарту, бросившему его как незаметную частицу своей армии из Ломбардии в Моравию и из Пруссии в Россию.

Произнося слово «бонапартизм», Лонсевиль вспоминал вечера Венеции, каналы на окраинах, где артиллеристы купали лошадей, дубовые леса Германии, горячую кровь, капавшую в сырую траву, дым сражений, застилавший полевые дороги и реки... Бонапартизм пламенел бронзовыми орлами. В нем сверкала пышность старой Франции, очищенная мужицкой кровью маршалов—бывших сапожников и пехотных капралов.

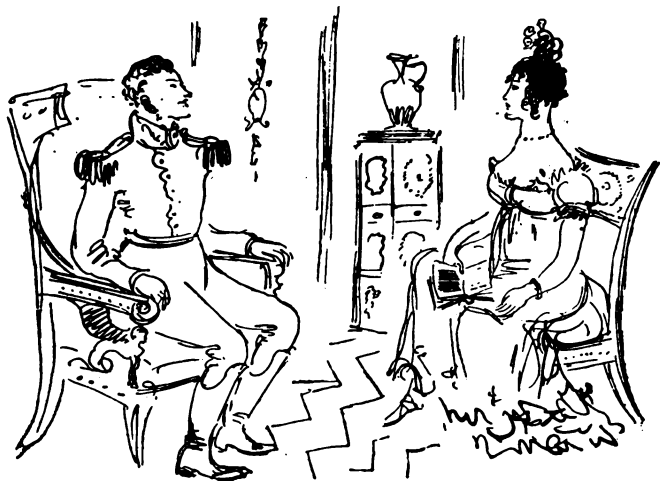
Так думал Лонсевиль. В плену он понял, что прошлое убито окончательно, возврата нет и попытка вновь пережить пережитое делает человека смешным даже в собственных глазах. Тогда Лонсевиль покорился.

В 1810 году Лонсевиль встретил в почтовом дилижансе по пути в Гренобль высокую и тонкую женщину с живыми глазами. Ее сопровождал кавалерийский офицер в пыльном мундире и мягких сапогах, обшитых мехом. Была зима. Дилижанс поминутно застревал в грязи, ночью ехать стало невозможно. Остановились в ближайшей деревне, где в кабачке нашлось чудесное вино. Офицер топил камин можжевельником и хвалил сырой ветер, дувший с Альп. Женщина дремала. Почти всю ночь офицер болтал с Лонсевилем. Потом Лонсевиль уснул и сквозь сон слышал, как офицер сказал женщине суровым тоном наставника:

— Мой молодой друг, пределом глупости является желание повторить вчерашний день. Живите неповторимо.

Утром Лонсевиль вспомнил во всех мелочах ночную болтовню, и она показалась ему блестящей и увлекательной. Расставаясь со своими спутниками, Лонсевиль узнал их имена. Женщина оказалась молодой поэтессой Марией Трините. Имя офицера он забыл.

Год спустя Лонсевиль посетил Марию Трините в Париже. Она читала ему стихи о подорожнике и звоне колоколов над Луарой. Через три месяца девица Трините стала женой Лонсевиля. С ней он прожил всего две недели, — потом начались походы.



Изредка он получал от нее письма и читал их в пыльных палатках. Жена писала о жестоком времени, одиночестве, вытоптанной солдатскими конями Европе. Лонсевиль улыбался—за тягостью походов он видел победы. Но они не пришли. Пришел разгром и плен.

Больше года Лонсевиль прожил в Калуге. Затем его отправили на пушечный завод в Петрозаводске.

Путь был уныл. У Лонсевилья осталась память о тусклых реках, серых озерах и молчаливых людях, глядевших на француза с испугом и покорностью. Рабство народа, торопливо снимавшего шапку перед пленным офицером, поразило Лонсевилья.

Приезд его в Петрозаводск совпал с посещением завода императором Александром. Царь медленно обошел закоптелые низкие мастерские. Он взял молот у кузнеца, три раза ударил по раскаленному стволу пушки и помахал в воздухе бледной рукой с длинными, будто оттянутыми искусственно пальцами. Потом он вышел во двор, где у пруда толпой стояли рабочие, лениво вынул золотую монету и швырнул ее в пруд. Тотчас несколько рабочих бросились в воду в одежде, и один из них вынырнул с монетой в зубах.

— Молодец!—внятно сказал царь, вытирая руки мягким фуляром: на пальцы попали брызги прудовой, тухлой воды.



— Рад стараться, ваше величество!— хрипло прокричал рабочий, и глаза его сделались круглыми, как у петуха.

Лонсевиль смотрел на царя с отвращением и гневом. Так вот каков этот «брат», а потом соперник Бонапарта, метавшийся по своей стране, как мечется рыба с порванным плавающим пузырьем! Так вот каков этот народ, разгромивший великие армии и заливший грязной водой костры веселых боевых стоянок!

Г Л А В А В Т О Р А Я

Вскоре после переезда Лонсевиль был вызван к начальнику завода, обер-берггауптману англичанину Адаму Армстронгу.

Стояла осень. Черные реки—Неглинка и Лососинка—проносили через город желтые березовые листья и нагромождали их в пышные кучи около зеленых от гнили плотин.

Столбы тусклого пламени из доменных печей озаряли по ночам мертвый город, и в освещении этом он чудился Лонсевилю бредом. Зарево выхватывало из крошечной темноты куски незнакомой и угнетавшей Лонсевилья жизни: страшные усы будочника, поломанные мосты, мокрый нос пьяного, оравшего песню «Не знаешь, мать, как сердцу больно, не знаешь горя ты мово», обрывки афишек, извещавших, что в знак посещения завода государем с рабочих будут отчислять



по две копейки с заработанного рубля на сооружение церкви в слободе Голиковке.

Армстронг жил в губернаторском доме, построенном двумя полукружьями по обочинам площади, заросшей гусиной травой. Дом был благороден и прекрасен, как и все творения зодчего Росси.

Лонсевиль долго не мог припомнить, в каком городе он видел подобное здание. Потом вспомнил и улыбнулся. Конечно в Веймаре, куда они входили июньским утром. Как можно забыть запах воды и лип и росу, падавшую с ветвей на сукно серых мундиров! Как можно забыть дым жаровен и золотую пену,—ее приходилось с силой сдувать с тяжелых пивных кружек! Наконец как можно забыть дом Гете, где в тишине, среди цветов бальзамина, рождались мысли, волновавшие лучшие умы Европы.

Воспоминание о Веймаре являлось, пожалуй, последней вспышкой детского бонапартизма. Портрет императора был потерян во время отступления, и новые мысли волновали Лонсевиля,—мысли о странной и страшной стране, где он находился.

Армстронг принял Лонсевиля в темном кабинете, загроможденном, как старая кузница, образцами изделий завода—ядрами, кандалами, гирями и моделями пушек для фрегатов.

Армстронг был толст и сумрачен. Губы его подергивались неопределенной усмешкой. Разговор пришлось вести через старичка-переводчика, гувернера детей Армстронга,—англичанин плохо знал французский язык.

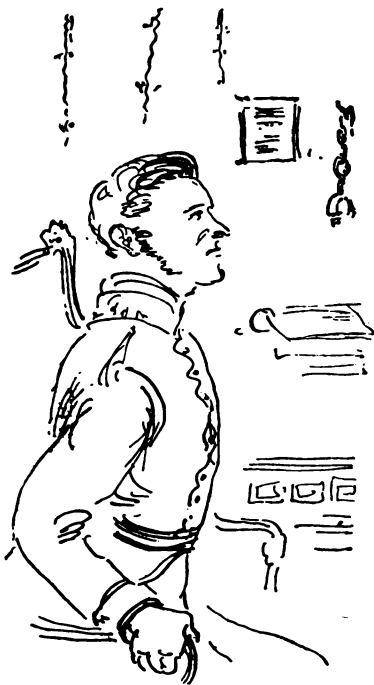
— Я докладывал императору о вас,—пролаял Армстронг, не глядя на Лонсевиля.—Его величество повелел оставить вас на заводе до окончания войны и, буде вы покажете старание и опыт в своем деле, заключить с вами контракт на работу в дальнейшем. Вы назначаетесь в литейную мастерскую помощником пушечного мастера Кларка.

— Я пленный,—горячо ответил Лонсевиль.—До окончания войны я принужден жить и работать здесь, но ничто в дальнейшем не заставит меня остаться в этой жестокой стране.

Армстронг поднял темные веки и тяжело взглянул на Лонсевиля. Тот невольно отвернулся. В этом англичанине все—вплоть до припухлых век и редких бакенбард—казалось отлитым из чугуна. С чугунной усмешкой Армстронг порылся в ящике стола, вынул горсть мелких бляшек и разложил их перед собой.

— Последствия свободы, равенства и братства столь очевидны и отвратительны,—сказал он, перебирая бляшки,—что жестокость необходима. Вы—джентльмен, и я хочу гово-

рить с вами свободно. Дикарь требует умелого удара кулаком. Россию можно назвать страной не столь жестокой, сколь глупой. Глупость господствует сверху донизу — от приближенных венценосца до последнего городничего. Вот небольшой тому пример: в разгар войны, когда ядра были нужнее хлеба, я получил приказ изготовлять железные пуговицы с гербами всех губерний Российской империи.



Армстронг придвинул бляшки Лонсевиллю. Рука его тяжело прошла по столу, точно он толкал стальную отливку.

Лонсевиль рассеянно взглянул на пуговицы с орлами, секирами и летящими на чугунных крылышках архистратигами и потер лоб, — разговор с англичанином раздражал его и вызывал утомление. Этим утром в литей-



ном цехе он видел обнаженного до пояса старика-рабочего, со спиной, исполосованной синими шрамами.

То были следы порки.

— Вы британец. Вы сын страны, кричащей на всех перекрестках об уважении к человеку,— Лонсевиль взглянул на крутой лоб Армстронга,— как можете вы сносить порку?

Армстронг встал, давая понять, что разговор, принявший острый характер, окончен.

— Мне нет дела до чужих законов,—промолвил он сухо.—Я думаю, что в армии Бонапарта тоже было принято хлестать плетью лошадей, чтобы заставить работать, а не кормить их сахаром. Я согласен с вами лишь относительно глупости, отличающей Россию. Недаром мой знаменитый предшественник, начальник завода, шотландский инженер и кавалер Гаскойн потребовал у царского правительства полной независимости от русских властей. Только благодаря этому он создал завод и ввел самый рачительный карронский способ литья чугуна в воздушных печах.

Армстронг проводил Лонсевилья до дверей кабинета и пригласил в ближайшее воскресенье к себе на бал. Балы Армстронга славились по Олонецкому краю обилием еды, пышностью и скукой.

Лонсевиль вышел. Ветер с Онежского озера доносил запах мокрой сосновой коры. По черной озерной воде плавала мертвая карта северного звездного неба.

Только к рассвету, когда озеро покрылось редкими хлопьями чаек и рыбацких парусов, Лонсевиль уснул. Тоска по Франции, по ветру с Альп мучила его в эту ночь с особой силой.

Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я

Гувернера детей Армстронга звали Филипп Бараль. Он был француз, родом из Эльзаса. Подружившись с Лонсевилем, старичок разболтал ему невеселую историю своей жизни.

В 1765 году его старший брат, негоциант, получил от императрицы Екатерины разрешение возвести на месте закрытого чугунолитейного завода в Петрозаводске, построенного еще при Петре, небольшую жестяную фабрику. Брат вызвал Филиппа из Эльзаса и поручил ему вести счетоводство. Фабрика изготовляла из сибирской руды жестяную посуду, серпы, наперстки и стальные кирасы.

Бараль с восхищением вспоминал парады кирасирских полков в Петербурге в новеньких баралевских кирасах.

— Мы зажгли на этой холодной стали солнце Прованса!—кричал он пронзительно, как все глуховатые люди, и утирал остренький нос коричневым платком.

Через несколько лет фабрика пришла в упадок: русское правительство отказалось отпу-



скать Баралю сибирскую руду. Бараль-старший вернулся во Францию, где был убит во время революции. Бараль-младший остался распродавать фабричное имущество.

Связь с Францией была потеряна, и старик поступил конторщиком на Александровский завод. В то время его восстанавливали, и адмирал Грейг привез на завод из Шотландии множество инженеров, мастеров и художников во главе с кавалером Гаскойном.

Гаскойн умер десять лет назад, но до сих пор Бараль с ужасом вспоминал этого «бесноватого англичанина». По его словам, Гаскойн был груб, жаден и нетерпим. Не было такого порока, которого бы старик не приписал Гаскойну. Он даже считал его виновником своей глухоты. Помилуйте, разве можно произво-

дить такие дикие пробы новых пушек, какие придумал Гаскойн!

Пробы эти назывались «тягчайшим аглицким коронным испытанием». В пушку забивали порох, пыжи и десять ядер—последнее ядро торчало из дула—и стреляли, полагаясь на милосердие святой девы. Из десяти пушек шесть обычно разлетались на куски. Во время одного из взрывов погибло двое рабочих, а Бараль оглох на левое ухо. И во всем этом был виноват Гаскойн.

Лонсевиль заинтересовался Гаскойном. Имя его повторялось на заводе ежеминутно.



Болтовне пустого и раздражительного гувернера Лонсевиль доверял очень мало, особенно после того, как узнал, что Бараль роялист. Когда пришло известие о битве при Ватерлоо—в страшный день падения Бонапарта, Бараль устроил для себя праздник. Он



надел шелковый камзол, кружевной галстук с вышитыми серебром королевскими лилиями и пошел гулять на набережную. Он постукивал палкой по мшистым валунам и размышлял о плеяде Людовиков, создавших из Франции прелестный рай для легкомысленных вельмож и женщин.

Если бы Лонсевиль не был артиллерийским инженером, он занялся бы составлением биографий замечательных людей. Любимой его книгой всегда оставался Плутарх.

Лонсевиль любил распутывать историю чужих существований, как клубок сваявшихся ниток. Он справедливо считал, что нет ни одной—даже самой ничтожной—человеческой жизни, где не отражалась бы эпоха, то бли-

стательная, то грубая и жестокая, как империя Александра.

Склонность Лонсевиля к изучению биографий вызывала симпатии к нему среди окружающих. Следуя своему влечению, Лонсевилю любил беседовать с людьми различных общественных ступеней и молча выслушивать исповеди, давая каждому право считать себя мимолетным другом и наперсником. В свободные часы Лонсевилю думал над всем услышанным, и лицо его приобретало холодное и острое выражение. Он совсем не был так человеколюбив без разбора, как то могло показаться на первый взгляд.



На Александровском заводе из трех занимавших его людей—Гаскойна, своего квартирного хозяина, литейщика Мартынова, и чернорабочего, старика Клима Костыля,—Лонсевилю удалось узнать кое-что лишь о Га-

скойне и Мартынове. От Костыля Лонсевиль ничего не мог добиться.

На лбу и щеках у Костыля были выжжены три буквы: В, О и З. В ответ на расспросы Лонсевиль Костыль поглядывал испуганно и дико.

Мартынов же побаивался посвятить Лонсевиль в тайну Костыля, мало пока доверяя французскому офицеру.

Гаскойн оказался совсем не таким, каким он чудился жалкому гувернеру. Этот спокойный светлоглазый шотландец был по натуре реформатором и воротилой-дельцом. Он создал на развалинах Петровского завода лучший пушечный завод в России, названный Александровским. Он ввел карронский способ литья в воздушных печах и начал работать на английском угле.

Он добился больших прав и не терпел ни малейшего вмешательства в дела завода. Он холодно третировал немудрых олонецких губернаторов и окружил себя армией соотечественников—англичан. Он потребовал для себя две тысячи пятьсот фунтов стерлингов в год и крупной доли из прибылей завода. Бергколлегия согласилась. Гаскойн стал неограниченным правителем завода и почти всего Олонецкого края.

Доходы завода росли с неслыханной для тех медлительных времен быстротой. Это

объяснялось просто. Гаскойн ввел много новых производств, а рабочим платил нищенские деньги—от двадцати пяти до ста рублей в год.

Бараль подарил Лонсевиллю отлитый из чугуна тончайшей работы барельеф—«Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Литье это было исполнено по распоряжению Гаскойна. Лонсевиль повесил барельеф над койкой. Разглядывая его, он вспоминал фрески итальянских церквей, как бы просвечивавшие через мутную воду.

Лонсевиль всегда чувствовал склонность к архитектуре и считал, что единственное свойство, достойное уважения, в «бесноватом англичанине»—его любовь к литью барельефов, бюстов, балюстрад и садовых решеток.

Но Гаскойн относился к художественному литью как к забаве и отдыху. Он впервые начал изготавливать на Александровском заводе земледельческие и прядильные машины и отлил огненную (паровую) машину для Воицкого золотого рудника. Это было настоящее дело, достойное английского инженера. Серьезные работы задерживались из-за пустяков: от Гаскойна требовали отливки садовых скамеек, перил для петербургских дворцов и бронзовых ваз для дворцовых парков.



Гаскойн пожимал плечами и соглашался. Ну что ж, рабская страна взамен машин требует украшений—будем ее украшать.

То было время, когда великие зодчие—Растрелли, Кваренги, Камерон и Воронихин—создавали каменный величественный ансамбль императорской России. Его густо обкуривал нищий дым деревень. Порфир бле-



стел над Невой, как бы омытый слезами безвестных строителей. Россия боязливо кряхтела, скрывая под отрепьями сизые рубцы от плетей. Блистательные фейерверки взлетали над навозом крепостных погостов, и огненный вензель императрицы, громадная буква «Е», высовывал насмешливый язык в ответ на проклятья.

Гаскойн добросовестно отливал цветочные вазы, дельфинов и нимф, бюсты чухонца

Павла с вздернутыми въздрями и кандалы для каторжан. Вазы принимались по внешнему виду, кандалы—по звону. Лучшими считались те, что звенели от малейшего прикосновения.

Но главной работой была отливка морских пушек, лафетов, бомб, гранат и брандкугелей. Принимать их приезжали чины адмиралтейства—очень схожие друг с другом красноносые старички, пившие в изобилии наливки и нечистые на руку.

Пушки принимали на-глаз, грузили на баржи-галиоты и отправляли в Кронштадт.

Незадолго до смерти Гаскойн был назначен директором Кронштадтского и Луганского пушечных заводов. Он приобрел облик русского вельможи: стал ленив, тяжеловат, грубо шутил, толкал палкой в затылок ямщиков и ходил по заводу в халате.

Воспоминания о туманной Шотландии, о танцах под звуки волынки, песнях Оссиана и реках, полных форели, приходили к Гаскойну все реже. Только по старой привычке он изредка вздыхал и приговаривал:

— Чудно живется в веселом городке Эдинбурге.



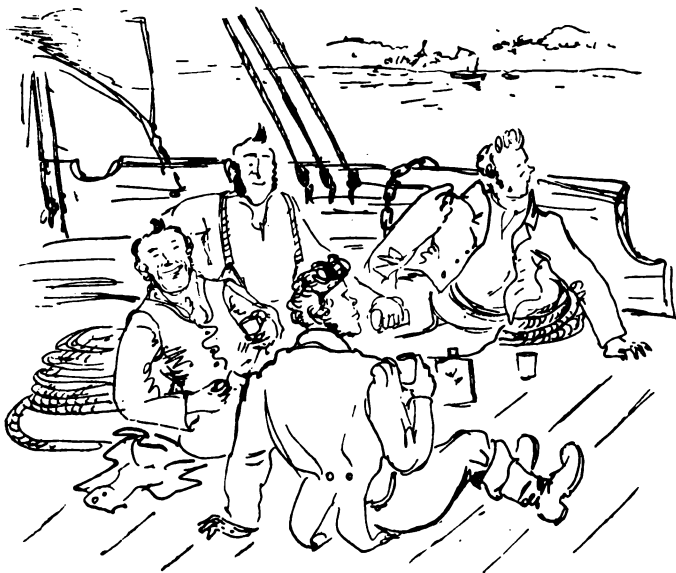
Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я

Лонсевиль не любил англичан и всего английского. Завод работал на английской глине и английском угле. Только руда шла местная, озерная, но в ней было столько воды, что в доменных печах постоянно случались взрывы.

Лонсевиль решил заменить английскую глину олонедкой. Говорили, что на южном берегу озера, около Вытегры, есть превосходная глина, годная для литейного дела. Лонсевиль получил разрешение от Армстронга поехать в Вытегру. Он взял с собой Мартынова и четырех чиновников заводской конторы.

Три дня они плыли по свинцовому озеру. Изредка оно серебрилось от ряби. Стояло бабье лето. Лонсевиль читал Плутарха и Руссо и беседовал с Мартыновым, коверкая русские слова. Чиновники пили водку. Они условились пить, не произнося самого слова «водка». Каждое утро начинался один и тот же разговор.

— Не плохо бы, а?—спрашивал один из чиновников.



— Да, не вредно бы,—отзывался другой.

— Пожалуй, стоит, как полагаешь?

— Так в чем дело! Я сбегаю в каюту и принесу.

Днем чиновники, напившись, спали на палубе и храпели так, что Лонсевиль не находил себе места. Матросы пинали их сапогами и грозились выбросить в воду. Матросы были раскольники из «поморского согласия» и не потребляли ни водки, ни табаку.

Шкипер, тощий мужик с ястребиными глазами, тяжело икал и хватался за низ живота.

Он рассказал Лонсевиллю, что у него «вывалилась кишка» и случилось это все из-за того же «подлого англичанина» Гаскойна. Гаскойн отлил несколько икон из чугуна, весом по пяти пудов. Шкипер пытался один поднять такую икону во время крестного хода, но в животе лопнула таинственная жила и «хряснул мосолок».

На корабле Лонсевиль написал письмо Марии Трините.

«Дорогой друг, я не решаюсь просить Вас приехать сюда хотя бы на месяц. Разрешение вы могли бы получить у русского посланника в Париже, но дорога утомительна и угрюма. Я не хочу подвергать Ваше воображение столь тяжким испытаниям.

До сих пор я живу подобно пленному и знаю, что отсюда меня не выпустят. Начальник завода англичанин Армстронг (я окружен чопорными англичанами и русскими, положение которых хуже скотов) в ответ на мою просьбу отпустить меня во Францию рассказал много интересных подробностей о Шлиссельбургской тюрьме, находящейся недалеко отсюда. Туда царь заточает людей на всю жизнь, и имена их раньше смерти заносятся в списки мертвых.

Я устал. Я часто болею лихорадкой. Здесь все плоско, дико и окрашено в печальный темный цвет.

Любовь моя к Вам прошла ряд тяжелых испытаний в ошибках, сражениях и одиночестве. Я берегу ее как последнее ощущение юности. Прошло два года, но я не имею никаких известий от Вас».

В Вытегре остановились в подворье женского монастыря. Пахло кислым хлебом и болиголовом. На горах белели церкви и березы. У плотин шумела зеленая вода. Монахини-белянки с черным флером, свисавшим до пят, семенили по дорожкам и опускали перед Лонсевилем глаза. Их пухлые щеки покрывала больная монастырская бледность.

В Вытегре Лонсевиль купался вместе с чиновниками и Мартыновым. Когда чиновники разделись, Лонсевиль вздрогнул от отвращения: на их ягодицах синели тонкие злые шрамы.

— Неужто в России бьют плетью даже чиновников?—спросил Лонсевиль Мартынова.

— Да ведь они заводские чиновники, сироты,—ответил Мартынов равнодушно.—К нам на завод привозят сирот из Рязани и Тулы, учат счету и письму, потом они и служат здесь до самой смерти. У нас, почитай, вся контора из сирот. Их конечно порют: они не дворяне.

Лонсевиль усмехнулся. Он постепенно привыкал к русским нравам.

В нескольких верстах от Вытегры Лонсевиль нашел глину. Чиновники были оставле-

ны для добычи глины и отправки ее на завод, Лонсевиль же с Мартыновым выехали обратно в Петрозаводск.

Опять на озере стояло безветрие, и солнце погружалось в серый пепел туч. Лонсевилья трепала жестокая лихорадка. Мартынов сидел рядом с Лонсевилем и вполголоса рассказывал о своей жизни.

— Меня тоже секли, ваше высокородие. Дали мне пятьдесят ударов. Год хворал, все нутро рудой запеклось. Карела чешут плетями—ему ништо. Карел гранитный. Ты его зажги, он и в три года не сгорит. А наш брат, видать, деликатнее. Пороли меня за нашего деревенского попа. Пьяница-поп, охальник-поп, всю деревню держал в трепете.

Работал я в тогдашнее время на заводе шпательником. Сталь мы делали знаменитую, даже в Англию ее отсылали. При царице Екатерине приезжали за этой сталью английские морские офицеры. Солидные, белорусые, в синих тонких камзолах, при серебряных пшагах.

Работали мы круглый год без отдыха. Только на рождество да на пасху давали нам на неделю выход. Платили, милок, плохо, как и сейчас платят. Мне назначили сорок рублей серебром в год, да на малых ребят по двадцать рублей в год,—у меня их двое. Считай, восемьдесят рублей.

Повиновение у нас на заводе военное. Шагнул не так—получай вычет. Аккуратно надо себя держать. Особливо с аглицкими мастерами. Вы человек французского звания, доходчивый к простому народу,—вам не обидно такие слова слышать.

Приехал я как-то на пасху и слышу—поп похваляется по деревне, что женку мою испакостил. Встретил я его пьяного и плюнул в рыжее рыло. Он в кулаки. Я, как замечаете, был парень крепкий. Пришлось попу плохо.

Взяли меня в наручники, привезли на завод, судили. И вышла во время суда такая история, ваше высокородие, что, почитай, по всей Руси другой такой не было.

Суд у нас помещался в губернаторском доме—сгорел теперь тот дом,—а рядом через прихожую жил и сам губернатор, его превосходительство господин Державин. Гимны писал, но человек был тихий. Завел он себе медвежонка, по имени Яша.

Судят меня. Поговорили то да се. Поп на суде сидит трезвый и кроткий, как овца, только волос рыжий злым огнем горит. Начали читать приговор и вдруг—шась—медвежонок в присутственный зал вкатился, прямо к столу. Схватил лапами красное сукно и—со всеми делами, и стаканами, и колокольчиками, и чернильницами—грох на пол. Зачал





рвать на мелкие части. Рычит. Зерцало разбил. Писарю руку окровавил. Едва солдаты Яшу поймали.

Судьи объявили,—поелику зеркало разбито неосмысленным зверем, приговор силу теряет и надо, мол, меня судить сызнова, а на господина Державина послать жалобу в Санкт-Петербург.

Пошло дело в сенат, потом к самой императрице, и повелела она дать мне безо всякого суда пятьдесят плетей, а медвежонка того убить.

Однако отсидел я в остроге, дожидаясь царской милости, лишний годок. Да до суда отсидел год пять месяцев. Вот и сочтите, ваше высокородие, сколько выйдет. Ежели правду сказать, то доля моя счастливая. Иные прочие, дожидаясь суда, по десять лет гниют в цепях да в царских ямах. Ко времени суда никакой вины не остается. Вся вина в воздух уходит, и остаются от человека одни вши да смрад.

Рассвет зеленел над туманным озером. На далеком берегу горели костры. Над ними переливалась блеском ключевой воды утренней звезда Венера.

— Судьбина наша чугунная, а сами мы царские да барские,—промолвил Мартынов.— И вам назначено царской волей помереть на Александровском заводе.

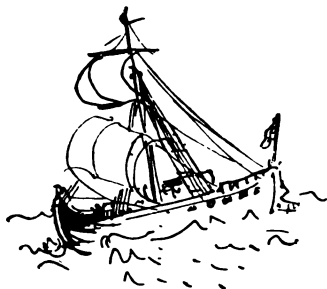
Лонсевиль глухо застонал. Ему приснился фрегат, быстро резавший мутные волны. В каюте капитана блестел лакированный ла-ред. В нем лежал пакет—письмо от Марии.

— Зачем вы отправили письмо морем?—спросил Лонсевиль и открыл глаза.

— А-а-ай, а-а-ай!—кричали над ним испуганные чайки. На лбу выступила обильная испарина. Мартынов отошел на цыпочках и сел покурить у борта.

Озеро уже шумело. Начиналась предрас-светная качка.

— Судьбина наша чугунная,—пробормотал Мартынов,—и конца ей никак не сыщешь. Вот, милоч-француз, ваше высокородие, ка-кие наши дела!



Г Л А В А П Я Т А Я

Балы у Армстронга поражали Лонсевиля не меньше, чем порка. То были длинные и вялые балы, где надоевшие друг другу люди приправляли провинциальную скуку жареной медвежатиной и острой сплетней. Балы устраивались по любому поводу. На этот раз балом было ознаменовано открытие на заводе мастерских для сверления пушечных жерл по английскому способу.

В официальной переписке новые мастерские назывались «свиреленными», рабочие же звали их попросту «свирельными». Четыре исполинских сверла, вращаемых водой, медленно врезались в пушечные стволы. Работа в свирельных мастерских почиталась самой тяжелой. Было трудно почти на-глаз, без точных приборов, определить середину ствола и просверлить его до назначенного предела.

В день пуска мастерских на Абрамовском мосту по наущению городничего устроили кулачный бой. Голиковка вышла стенкой на

Гористую улицу. Рабочие дрались с купеческими молодцами.

Дым сложился над крышами, закрывая угрюмое солнце.

Посмотреть на бой пришли даже англичане. Русские способы праздновать технические победы казались им занимательными. Но бой начался вяло и разгорелся лишь к темноте, когда гости не могли видеть крови, раздававшей красными проталинами истоптанный снег.

Победили купеческие молодцы. Рабочие дрались неохотно, лишь бы не ссориться с начальством, пожелавшим отпраздновать пуск новых машин столь крупным «кулачным делом».

Лонсевиль подошел близко и видел кровь. Он видел сизое от сокрушительных ударов лицо молотобойца Степана, слышал, как выл, катаясь по снегу, десятилетний мальчишка. Мартынов, пытаясь успокоить Лонсевилья, объяснял, что мальчишку нечаянно ударили «под душу», мучиться он будет недолго и вскорости отойдет.

На бал Лонсевиль приехал бледный от незлитого раздражения.

Чиновники губернских учреждений совместно с женами ставили любительский спектакль. Шла опера под названием «Олонецкая русалка».



То была грубая пародия на «Энеиду», сплошная дичь, усилившая раздражение Лонсевия. Карфагенские министры пили ромеечку, а Дидона плясала «барыню», помахи-вая платочком. При этом она визгливо цела:

В нашем зеленом саду
Девка рвала лебеду.
Она рвала,
В фартук клала,
Приговаривала.



Припев подхватывали все карфагенские министры:

Кому тошно по нам,
Тот пускай придет сам.
Кому хочется,
Тот сволочится.

Зрители искренно хлопали в ладоши, но после спектакля Лонсевиль слышал, как седовласый толстяк, держа за пуговицу гувернера Барая, громко возмущался, называя оперу якобинской.

— Что означает сия пьеска?—Старик задыхался и поводил желтыми глазами, будто ожидая сочувствия от потемневших портретов. Лицо его вздрагивало при каждом треске нагоравших свечей.—Министры возносятся друг перед другом своею сонливостью и выражаются самыми подлыми речами, как они спокойно почивают при воплях подданных. Не есть ли это самая колкая критика на министерства?

Лонсевиль отошел. Казалось, скука воплотилась в чад свечей и мерцание грубой позолоты приземистых и жарких зал. Декабрьская ночь черным камнем давила на сердце.

«Опять лихорадка», подумал Лонсевиль и вытер лоб холодным белоснежным платком. Но испарина не проходила.

— Где я?—спросил Лонсевиль почти вслух. По привычке одиноких людей он часто говорил сам с собой.—Откуда столько неприятных англичан и пьяных русских, страдающих отсутствием человеческого достоинства? Какая тяжелая ночь... Как болит голова от дыма канделябров и сладкой вони жареных уток... Сейчас я должен уйти.

Он вспомнил кровь на снегу, новые свирельные машины и оглянулся на залы, откуда доносило тошный запах пачуль.

— Ах, не то, не то!—поморщился Лонсевиль и пошел к выходу.

Кровь? Он видел ее очень много в боях, еще во время революции. То была чистая артериальная кровь. На политой ею земле, как говорила ему мать, расцветают гвоздики. То была кровь борьбы, кровь изорванных в клочья, но победоносных армий санкюлотов, кровь марсельезы, высыхающая мгновенно от палящих пожаров. Наконец то была благородная кровь мщения.

А здесь? Здесь он видел густую венозную кровь унижений, порок, драк в угоду начальству.

А балы? Как еще памятны балы Гренобля, где девушки прикалывали к корсажам букеты полевых ромашек, а легкое вино, выпитое за счастье товарищей, напоминало по цвету солнечный день!

У выхода Лонсевия задержал секретарь Армстронга Юрий Ларин. С живостью двадцатилетнего юноши он взял Лонсевия под руку и мягко, но сильно повел обратно к столу, болтая без-умолку. Ларин говорил шопотом, глаза его блестели.

— Ну, какова пьеса? Это наше общее сочинение, наша посильная сатира на министерства. Не правда ли, забавно? Великая революция владеет умами и находит отклик даже в таких медвежьих углах, как наш завод.

Лицо Лонсевия покрылось бледностью. Они подошли к столу, где, погромыхивая



креслами, рассаживалась к ужину петрозаводская знать.

— Сударь,—сказал Лонсевиль,—вы позволяете себе оскорблять великую революцию моей родины, считая жалкую эту пьеску детищем революционных идей. Вы не знаете революции. Ее дыхание кроваво и беспощадно. Я благодарен небу за то, что был ее



участником и очевидцем. Вы, полагающие себя чуть ли не монтаньярами, знаете ли вы, что в новых английских машинах, пущенных сегодня на заводе, в тысячу крат больше революционного пороху, чем в десятке таких глуповатых спектаклей?

Лонсевиль сознавал, что мысли его не совсем ясны от начинавшейся лихорадки. Во

время горячечных припадков он начинал плохо видеть и слышать. Иначе он заметил бы тяжелую и грозную тишину, водарившуюся в зале. Иначе он увидел бы рядом с собой голубую ленту губернаторского мундира и шелковый камзол гувернера Баралья.

— Чем вы ознаменовали начало работы новых машин?—продолжал Лонсевиль.—Кулачным боем и балом, где лишь глупость и жирная пища вызывает веселье гостей. Сегодня я узнал, что в здешнем суде лежит три тысячи нерассмотренных дел. Остроги переполнены. На заводе секут плетью рабочих. Все это требует жесточайшего конца.

Лонсевиль остановился, пытаясь собрать разбегавшиеся мысли. Треск свечей походил на отдаленную ружейную пальбу.

— Если вы располагаете временем и охотой,—Лонсевиль слегка поклонился Ларину,—я готов в свободное время подробно посвятить вас в ход революции. Тогда вы поймете ее истинные задачи и способы осуществления.

Лонсевиль вышел. Губернатор подозревал движением глаз адъютанта и промолвил, почти не шевеля губами:

— Надлежит немедленно поставить в известность канцелярию его величества.

Звон шпор подтвердил, что приказ услышан и будет исполнен.

Г Л А В А Ш Е С Т А Я

В конце зимы на завод приехал принимать пушки величественный генерал Ламсдорф.

Мартынов рассказал Лонсевилью, что этот генерал, будучи еще молоденьким офицером, участвовал в подавлении восстания крестьян, приписанных к Александровскому заводу.

Восстание? Это слово звучало неправдоподобно. Полно, не горячечный ли это сон олонедких пустошей?

Неверие Лонсевилья раздосадовало Мартынова. Он посвятил француза в историю мятежа, длившегося три года. Лонсевиль не мог противоречить очевидности.

Народное возмущение. Что может быть благодарнее этой темы для исследователя, каким был по натуре Лонсевиль?

С некоторых пор Лонсевиль переживал странное ощущение времени,—оно как бы ускорило свой бег. Эпохи сменяли друг друга подобно картинам, освещенным короткими вспышками молний. Будущее, порожденное

прошедшим, надвигалось с неясным гулом, а прошедшее таяло безвозвратно.

Лонсевиль решил записывать хотя бы наспех все, что касалось переплетения и грома эпох, на переломе которых суждено было жить.

Первый толчок к записям дала встреча Ламсдорфа с Костылем.



На пробе пушек присутствовало все заводское начальство. Шел пухлый и теплый мартовский снег. Он был настолько непрочен, что от самого ничтожного звука — от удара кувалды по наковальне и колокольного звона колоколов — слетал с

деревьев и падал хлопьями на серые плащи офицеров. Костыль был приставлен сметать снег с бронзовых оружейных стволов. Вензель императора Александра блестел на них самоварной медью.

Ламсдорф пристально взглянул на Костыля и сделал знак, чтобы тот подошел.

Генеральские баки и глаза ничем не отличались от цвета пасмурного неба. Костыль

понуру стоял перед Ламсдорфом и смотрел на острые носки генеральских сапог. По привычке ему хотелось нагнуться и смахнуть снег с черного лака.

Ламсдорф шагнул к Костылю, величественным жестом выпростал руку из-под плаща—золотое шитье мундира тускло блеснуло в глаза окружающим—и сдернул с Костыля шапку. Армстронг поморщился: он ждал грубой вспышки генеральского гнева на непочтительного холопа. Но Ламсдорф улыбнулся сухими губами и спросил:

— Меня знаешь?

— Как не знать, знаю.—Костыль поглядел на шапку—генерал бросил ее в снег около орудий.

— Вот, государи мои,—Ламсдорф положил на голову Костыля тяжелую руку в кожаной перчатке,—вот пример подлинного монаршего благоволения к заблудшим подданным. Смотрите сюда.

Ламсдорф взял Костыля за волосы, откинул его голову и медленно обвел пальцем шрамы на его щеках и лбу—клейма В, О и Э.

— Сии знаки выжжены по приговору императорского сената.

Он поворачивал голову Костыля решительно и умело, точно показывал собравшимся ручного зверя. Костыль и вправду стал похож на ярмарочного медведя. Он топтался,

глядя в снег, и багровая кровь неторопливо растекалась от его шеи к ушам.

— В Кижях был?

— Так точно, был,—тихо ответил Костыль.

— Петрушку Соболева помнишь?

— Запомятовал, ваша светлость.

— То-то, запомятовал.

Ламсдорф, забыв о том, что рука его крепко держит Костыля за взъерошенные волосы, взглянул на почтительную толпу, окружавшую его, и медленно заговорил:

— Вот один из девяти тысяч мятежников, возмутившихся против императрицы Екатерины. Приписные к вашему заводу холопы, пользуясь дикостью окрестных лесов и отсутствием гарнизона, безнаказанно буйствовали три года, остановили завод и лишили государство оружия, потребного для войны с турками. Роте Зюдерманландского полка, в коем я служил в то время в малом чине, посчастливилось окружить мятежников в погосте Кижы и принудить к покорности орудийной пальбой. История сия поучительна. О ней надлежало бы рассказать более пространно вечером за фараоном и бутылкой рейнвейна.

Армстронг хмуро поклонился, выражая согласие на вечер с фараоном и бутылкой рейнвейна.

Ламсдорф вспомнил, что держит Костыля за волосы, оттолкнул его и отряхнул перчатки.

Торжественный и прямой, он двинулся вперед под унылый перезвон колоколов и шопот инженеров, поспешавших сзади.

Гроыхнула первая пушка,—началась проба. Солдаты стыли у лафетов, не смея шелохнуться. Талый снег щекотал их лица, капал с носов и стекал по рыжим усам на мокрые мундиры.



Г Л А В А С Е Д Ь М А Я

О приписных крестьянах Лонсевиль записал в тетрадь все, что удалось узнать от Мартынова.

При Петре первом к заводу приписали крестьян Вытегорской, Белозерской, Олонецкой и Петрозаводской вотчин. Приписка означала худший вид рабства. Только лопарей, признанных царским правительством ни к чему негодными людишками, освободили от приписки. За это с них драли неслыханные налоги и взятки.

Приписные вместо подушной подати должны были работать на завод. Расценка для них была в четыре раза меньше, чем для вольных. Отработка подати требовала непосильного напряжения. Никто из приписных толком не знал расценок. Они менялись с хитрым расчетом, чтобы заставить крестьян работать круглый год, даже в горячую пору пахоты и жатвы.

Приписной получал примерно пять копеек в день. За этот пятак надо было пропитаться самому и задать корм коню.

Приписные возили лес, выжигали уголь, до-

бывали руду, клали заводские здания и плотины, мяли глину и жгли известь.

Зачастую приписных гнали на завод за триста-четырееста верст для работы на два дня. Измываться над приписными вошло в обычай.



Этим занимались все—от начальника завода до последнего рыластого писца.

Жалоб не слушали. В ответ на жалобы поминали первого начальника завода голландца Генина, сажавшего строптивых на кол, и грозили цепями и каторгой.

Зипунное горе настаивалось крепко, подобно кислому хлебу. От приписных за версту несло тоской и беспомощностью. Лошаденки их ходили в кровавых подтеках. В глазах мигало отчаяние.

Жить было обидно и подло. И день и ночь

над головой свистели батоги. И день и ночь—тоска бесконечных обозов с мокрыми бревнами, урчащие от голода животы, окрики.

В 1769 году приписные восстали.

«Память моя ослабевает,—писал Лонсевиль в своей тетради. Метель свирепела над озером и выла в холодных борах. Этот заунывный звук напоминал ему отдаленные сигналы трубачей к атаке.—Я в упор смотрю в глаза истории и замечаю, как быстро иссякает время великих общих дел. Вопреки этому, даже здесь, в России, я переживаю одушевление, присущее смелым и свободным мыслям. Такое состояние напоминает предчувствие далекого рассвета, неизбежного и в этой несчастной стране.

Россия имеет свои способы возмущения, называемые бунтами. Примечательно, что поводом для бунтов весьма часто являются подлинные или подложные царские указы.

Пятьдесят лет назад императрица Екатерина подписала указ об увеличении подушной подати с крестьян на один рубль. Слух об этом с непостижимой быстротой дошел до деревень—раньше, чем фельдъегери прискакали с указом в губернские города,—и вызвал бунт, длившийся несколько лет.



Я убедился, что Россия живет ожиданием чуда. О чуде гнусаво бормочут монахини, оплакивая мертвых. О чуде возглашают в церквах спившиеся певчие. Чудо предсказывают нищие, чья одежда блестит от лампадного масла,—их здесь почитают святыми и называют странниками. Наконец о чудесных капризах царей любят рассказывать старые солдаты, облысевшие от тяжелых париков.

Иногда я ловлю себя на глупой мысли, что, действительно, только чудо может спасти стада этих худосочных крестьян, скребущих липкую глину полей и хлебающих щи, столь же соленые, как слезы. Наивная вера в милосердие царя до сих пор существует в народе.

В России, так же как и всюду, царская воля получает осуществление в указах, написанных языком торжественным и непонятным.

Указов ждут, но когда они появляются их почти никто не читает—нет грамотных людей. Немногочисленным чтецам верят на слово и толкуют указы так, как желательно каждому.

Когда был издан указ 1769 года, приписные решили, что царица отменила приписку и взамен работы на Александровском заводе можно вносить в государственное казначейство по семьдесят копеек с души.

Заводское начальство объявило, что царица отнюдь не отменяла приписку и, наоборот, впредь придется отрабатывать вдвое больше.

Приписные этому не поверили. Возможно, что они и поверили, но по традиционной хитрости русских крестьян прикинулись дурачками и упорно толковали указ по-своему.

Приписной Емельян Каллистратов поехал по вотчинам. Он собирал приписных и призывал их не выходить на работу.

Мартынов знал Каллистратова. Насколько я понял его боязливый рассказ о восстании, Каллистратов был угрюмый и насмешливый мужик. Но он, как и многие в те времена, верил, что в золоченых залах дворца живет, подобно райской птице, нетленная и прекрасная правда и только министры не дают ей дойти до народа.

На сходах Каллистратов кричал короткие и взволнованные речи. Он называл вельмож захребетниками (людьми, живущими на чужой шее), ругал приписных последними словами за робость и требовал отправки выборных людей в столицу.

Я не могу отказаться от искушения записать речь Каллистратова совершенно так, как передавал ее мне Мартынов:

— Работу кидай! Ни единого коня не ставить, ни единого бревна, ни единой меры руды! Правду спрятали от нас захребетники, как золотое колечко в навоз. Правду надо достать. Царица живет за семью дверьми. Министры и гвардия вокруг нее стенкой стоят.



Стенку надо сломать, поднести челобитную,— пусть льется горе мужицкое к царским ногам. Гляди, какие мы. Гляди, чего с нами делают, с верноподданными, с людьми, в державе твоей, богом хранимой. Обману положим конец! Правду взыщем. Министрам тем вырвут языки и сгноят их в Пелымских острогах. За что сгноят, пытаешь? За бездолье твое, за раннюю твою смерть, за бездушество— вот за что. Терпежом всю жизнь жили,— теперь от терпежа одни крохи остались.

По приписным вотчинам стоял гул. Гудел весь полуостров Заонежье, где начался бунт. Кричали люди, гудели набаты, сзывая крестьян на сходы, плакали от радости женщины. Работы на заводе остановились. Дюменские печи были потушены. Заводское начальство растерялось. Каллистратов с прошением за пазухой уехал в Петербург.

Он присылал оттуда короткие и радостные письма. Он ждал приема у царицы и требовал присылки в Петербург ста выборных крестьян, чтобы вместе с ними подать жалобу Екатерине. «Чем боле будет нас, мужиков,— писал он,—тем боле горе мужицкое встрянет в глаза царице».

(Смысл слова «встрянет» мне никто не мог объяснить. Остается предположить, что это слово соответствует словам «вонзится», «вопьется» или, хотя и имеет иное значение, но близкое к указанным выше.)

Вскоре письма прекратились. По Заонежью прошел слух, что Каллистратова заковали в цепи и бросили в страшные подвалы Петропавловской крепости.

Слух скоро подтвердился. Подтвердил его сам Каллистратов, выпущенный из заключения. Он приехал худой и пристыженный. Он снова созывал приписных и говорил, что из столицы едет чрезвычайная комиссия, назначенная царицей, и комиссия эта найдет нако-

нед настоящую правду. Но Каллистратова слушали плохо. Воздух освобождения проветрил головы.

В деревне Кондопоге молодой парень крикнул Каллистратову дерзкие слова:

— Хорошо поет твоя царица, райская птица, только здорово гадит на голову. Что ж не показываешь языки, у министров отрезанные?

Каллистратов погрозил ему кулаком. Приписные зароптали:

— Ты не грози. Мы «кулаченные и перекулаченные». (Эти слова Лонсевиль написал по-русски.) Ты правду про царицу скажи. Много вас, царских угодников!»

В июле 1770 года на Александровский завод действительно приехала чрезвычайная следственная комиссия. Вместе с ней пришла рота солдат Зюдерманландского полка и артиллерия под командой генерала Лыкошина и подпоручика Ламсдорфа.

По вотчинам разослали гонцов с приказом всем приписным выбрать старост и прислать на завод.

Тогда выступил новый главарь восстания, приписной Петр Соболев.

Он занимал Лонсевилья гораздо больше, чем угрюмый и неуравновешенный Каллистратов. По словам Мартынова и Костыля, Соболев был весельчак и балагур. Он хорошо знал гра-



моту. Он составил от имени приписных заявление обо всех беззакониях и подал его председателю комиссии—беззубому и пышному вельможе, распространявшему сладкий запах ландышевых капель.

В заявлении, в числе прочих обид, было указано, что за последние сорок лет заводское начальство незаконно взыскало с приписных пятьсот тысяч рублей якобы неотработанных денег.

Это же подтвердили все старосты. Они излагали свои жалобы неясно и торопливо. Они стояли перед столом комиссии, как перед церковным аналоем, и дурели от могильного за-

паха ландышевых капель. Вельможа слушал, закрыв глаза. Когда он открывал их, что означало нежелание слушать дальше, секретарь обрывал допрашиваемого и вызывал следующего. Вельможа зевал и говорил добродушно:

— О-хо-хо! Сие совершенно верно, но польза государственная двулика, как бог Янус. Токмо таковым соображением надлежит комиссии руководствоваться. Понятно вам, государи мои?

Члены комиссии наклонили головы в белоснежных столичных париках.

Опросив старост, комиссия уехала. Войска остались. Приписные попрежнему не выходили на работу,—ждали вестей из столицы.

Настало затишье, какое часто бывает в разгар народных волнений.

«Дальнейший ход событий не совсем ясен,—записал Лонсевиль.—Следует расспросить о нем не только Мартынова и Костыля, но и Ларина,—в его руках находятся все документы, имеющие касательство к восстанию.

Отныне я пишу не биографию великого человека, как предполагал ранее, но биографию крестьянского возмущения».

На этом запись Лонсевиля обрывалась. Дальнейшие события не дали ему возможности закончить начатую работу по изучению мятежа приписных крестьян.

Г Л А В А В О С Ь М А Я

Вечеринки у Юрия Ларина носили иногда таинственный характер. Собирались молодые чиновники губернских учреждений. Они играли в фараон, пели песни, пили водку и под шумок вели вольнодумные разговоры. Сборища эти получили наименование «парижского парламента».

Лонсевиль бывал несколько раз у Ларина, стремясь изучить русские нравы и мало разумительный образ мыслей и получить новые сведения о Петре Соболеве и конце крестьянского восстания.

Особенно памятным для Лонсевиля был последний вечер, совпавший с приездом Ламсдорфа.

С утра шел снег, падавший густо и совершенно отвесно. В зимнем пейзаже господствовали две краски—серая и белая. Белой была земля, а серым и темным—небо. Поэтому свет, вопреки обычным законам, падал не с неба, а подымался с земли, что придавало редкую причудливость садам, превращенным

ишем в гигантские кружевные видения, городу и лицам людей, освещенным снизу.

У Ларина пахло угаром, дымили шандалы и собравшиеся молодые люди пели излюбленную песенку «парижского парламента»:

Наше вечное согласие
Нам подаст веселы дни.
Насадим народам счастье
Мира сладкого в тени.

На этот раз среди чиновников сидел грузный старик с бегаящими глазами вора и льстивым голосом. Он тер ноги, обутые в меховые сапоги, и охал.

— Вот осколок екатерининского века, бывший полковник Тарновский,— Ларин подвел Лонсевия к старику.— Очевидец многих событий, вас интересующих. При императоре Павле он был сослан к нам на завод писарем, но до сих пор не получил помилования. Отсюда вы можете судить, как жестоки наши российские законы и как беспощадна Тайная экспедиция.

— За что вы сосланы?— спросил Лонсевиль. «Явный мошенник», подумал он про себя и пожал плечами: неразборчивость Ларина начинала его удивлять.

— Я без водки рассказывать не согласен,— прокричал старец силло и весело.

Лонсевиль пристально смотрел на Тарновского.

Фамилия эта всплывала в глубине памяти. Она была связана с чем-то давно забытым, от нее осталось одно только ощущение противности и смрада.

Наконец Лонсевиль вспомнил,—да, эту фамилию он слышал в городе Калэ, где сооружал помосты для погрузки пушек на корабли. Там ему рассказывали об английской авантюристке герцогине Кингстон, жившей в Калэ, и об управителе ее имениями и водочными заводами в России полковнике Тарновском. Так вот кто сидел перед ним! Беседа обещала быть занимательной.

— Кстати,—промолвил Ларин,—вы осеedom-лялись о значении букв В, О и З, выжженных на лице у Костыля. Они составляют слово «возмутитель».

— Это что! Холопам жгут лбы за дело,—пробормотал Тарновский.—А вот у герцогини Кингстон выжгли позорное клеймо на левой руке за двоемужество, и с тех пор она не могла носить бальных туалетов. То холоп, а то герцогиня несравненной красоты. Разницу постигаете?

Лонсевиль промолчал.

— Юрий Петрович сообщил мне, что вы, будучи историком, интересуетесь бунтом здешних холопов.—Тарновский икнул.—Ну что ж, история—вещь почтенная, хотя и мало совместимая со званием инженера.

— История—это я!—Старик ударил себя в грудь. Он заметно пьянел.—Я был управителем богатейшей женщины в Европе, затмившей блеском своих бриллиантов императриц. Я привел из Лондона в Петербург корабль с картинами, подаренными матушке Екатерине герцогиней Кингстон. Целый фрегат, батенька, одних рембрандтов. Мы пили чай на ящиках с творениями Рафаэля. Это надо понимать! В этом есть видимость широкой русской природы!

Когда лэди Кингстон прибыла в Петербург на собственной яхте, вся столица заполнила набережную и приветствовала красавицу криками и бросанием цветов. В честь ее устроили военный парад, и во время одного парада холоп Петр Соболев, приписной к Александровскому заводу, подал царице челобитную... Стой, не мешай, дай рассказать по порядку. Я рассказчик отменный.

Было это летом 1770 года. Слышал я стороной о мятеже на заводе и о посылке следственной комиссии, но делом сим не интересовался.

Говаривали, что восстание стихло и что мятежники сидят, мол, и ждут царицына решения. Ждали, ждали, да и заждались. Прислали в столицу Соболева. День парада выдался жаркий и солнечный.

Старик выпил,



— Ты не гляди на меня, Юрий Петрович, точно я бродяга. Когда вышью, во мне поэзия возгорается. Недаром я Державину сказал обидные стишки:

За счастье поруки нету,
И чтоб твой свет светил нетленно свету,
Не бейся об заклад.

— А не тебе ли Державин сказал их?— спросил юноша в грязном мадиновом фраке.



— Замолкни, птенец! Слушай, что будет. День был приятный и жаркий. Царица ехала в золоченой карете. За нею невдалеке следовала в коляске лэди Кингстон.

Внезапно к карете императрицы подбежал молодой холоп в чистом армяке, пал на колени и крикнул весело и требовательно: «Царица-матушка, примай челобитную на великие наши обиды!»

Царица подняла веки,—а надлежит помнить, что подымать их было трудно, ибо они тяжелели от сурьмы,—светлые ее глаза блеснули улыбкой. Улыбку ту она изучила в совершенстве и могла вызывать на устах в любое мгновение.

Лошади остановились. Граф Орлов подъехал к челобитчику. Я заметил, как в гневе тряслась, сжимая повод, его рука с синим родимым пятном на пальце. Признаться, я был напуган.

«Ну, что ты?—спросила царица протяжно, что означало приветливость.—Поддай сюда. Кто ты таков?»

Холоп, впоследствии оказавшийся Петрушкой Соболевым, подполз на коленях, протягивая перед собою сложенную вчетверо бумагу.

На оную бумагу глядели все: и Екатерина, и Орлов, и герцогиня Кингстон, и шпалеры солдат, что застыли могучим покоем вокруг кареты матушки-царицы, и офицеры, вздымавшие к небу стальные клинки, и тысячное скопление горожан, пестревшее желтыми и розовыми зонтами щеголих... Эх, пышность!—Старик потер ноги и помолчал.—Вот будто сейчас помню. Поверите ли, стало слышно, как струится Нева. Даже тяжело стало от безмолвия, пока Петрушка Соболев не крикнул хриплым голосом, ровно из могилы: «Мы,

мол, приписные твоего величества холопы с Александровского завода. Спаси, голубушка, от министров-собак!»

Тут точно ветер прошел по шеренгам солдат,—штыки дрогнули. Орлов, натурально, смял челобитчика конем, и карета тронулась. Ударили барабаны, дабы заглушить крик Соболева, схваченного гвардейцами и связанного по рукам.

Дальнейшего я не видел, но рассказываю со слов приятеля—дворцового офицера. Будто поздней ночью прискакал от генерала Лыкошина фельдъегерь и привез донесение, в коем Лыкошин сообщал, что все Заонежье вооружилось и выступило против властей. Посланный отряд под начальством подпоручика Ламсдорфа мятежники привели в расстройство. Ламсдорф отступил к заводу. То было тогда, а сейчас погляди, какой орел, в лоб глядит!

Говаривали, что императрица, получив донесение, отложила свою книгу под титлом «Опровержение аббата Дидерота», распорядилась послать Лыкошину подкрепления, дабы бунт прекратить немедленно, и притом добавила: «Народ—точно дети. Решив воспитать в нем добрые начала, его надлежит изредка сечь».

Лонсевиль, чтобы поощрить старика к рассказу, выпил с ним немного водки. Ее пода-

вали в черных бутылках с надписью «Чудлейская мыза».

Рюмки покрылись потом. За окнами тлел закат, придавленный к снегам облачным небом. Галки кружились вокруг церковных крестов.

Язычки свечей переливались множеством блеска в заледенелых стеклах.

Вольнодумных разговоров никто не вел: опасались Тарновского и хотели поскорее его выпроводить. С минуты на минуту должен был приехать Ламсдорф в сопровождении Армстронга,—игра в фараон была назначена у Ларина.

Тарновскому сунули в карман бутылку рома, и двое чиновников подняли и повели его домой. Остальные притихли, а кое-кто незаметно исчез: встреча с Ламсдорфом и Армстронгом не сулила удовольствия.

Лонсевиль собрался уходить, но вспомнил, что Ламсдорф обещал рассказать о восстании и замешкался. Воспоминание о Калэ неожиданно приобрело вчерашнюю ясность,—ну, конечно, он знает очень многое о лэди Кингстон.

— Имя лэди Кингстон,—сказал Лонсевиль, ни к кому не обращаясь,—является напоминанием об одной из самых удушливых и бесплодных эпох. Кстати, известно ли вам, что Александровский завод отливал статуи для ее

дома в Петербурге? Но не в том дело. Будучи в Калэ с армией Бонапарта, я слышал от обитателей этого города рассказы о герцогине Кингстон.

Весь город трепетал перед ней. Женщины осыпали ее цветами. Мэр приказал посыпать мостовую около ее дома соломой, дабы стук колес не тревожил покоя этой авантюристки и отравительницы. Она хотела поселиться в Калэ навсегда: Благосостояние города зависело от капризов надменной женщины. Ежели бы она стала гражданкой Калэ, то это обстоятельство сулило бы городу неслыханное благополучие: богатства Кингстон почитались баснословными. Богатства эти приобретались отравлениями, подлогами, спаиванием крестьян и дворцовыми интригами.

То было время, когда города преклонялись перед низостью, усыпанной алмазами. Что может быть позорнее этого зрелища! Что может быть позорнее почета, воздававшегося Кингстон всеми европейскими дворами. Она визжала на королей и била туфлей по лицу придворных дам.

Когда Кингстон находилась в гостях у польского князя Радзивилла, он сжег ей на потеху деревню со всем нищим скарбом своих крепостных. В пламени погибли дети. И все потому, что герцогине наскучили фейерверки непревзойденного пиротехника, генерала Ме-

лессино. Ей хотелось более величественного и жизненного зрелища.

Радзивилл устроил в честь герцогини ночную охоту на кабанов при свете факелов. Чтобы попасть на охоту, герцогиня ехала из Риги в Литву, и по всему ее пути согнали крестьян—жечь костры и застилать хворостом дороги. Однажды лошади понесли, и



герцогиня едва была не убита перевернувшейся коляской. Вне себя от злости, она выдумала гнусную историю, что некий холоп швырнул в коней горящей головешкой. Радзивилл приказал засечь двадцать крестьян. Кингстон наградила его за это одной из своих фальшивых улыбок.

Неужто мы можем забыть, что жизнь тысяч людей была отдана на произвол взбалмошных и злых куртизанок? Неужто мы можем без содрогания вспоминать черные времена абсолютизма? Как примириться с тем, что Европе снова наступил на горло императорский каблук и народами руководят короли, злые и нечистоплотные, как обезьяны?

Лонсевиль сжал голову руками. Потом он встал и стремительно вышел. Ларин взглянул на его бледный профиль, промелькнувший в багровом пламени задрожавших свечей, и прошептал соседу:

— Как он похож на Руже де Лиля!

Он настолько растерялся, что позабыл проводить Лонсевилья до дверей.

Лонсевиль быстро шел по улицам. Сырой ветер шумел в садах, и было явственно слышно, как хрустит и оседает снег. В порывах ветра Лонсевиль улавливал похожий на рыданье и радостный крик напев отдаленной марсельезы. Он усмехнулся, вспомнив о выпитом вине.

Г Л А В А Д Е В Я Т А Я

Лонсевиль не слышал рассказа Ламсдорфа о подавлении восстания приписных крестьян. Расспросив Ларина и двух смущенных юношей, присутствовавших при рассказе генерала, он составил ясную картину последних дней восстания.

Поздней осенью 1770 года Петр Соболев бежал из арестного дома в Петербурге и появился в Великой Губе.

Лыкошин, предпочитавший отсиживаться на заводе в надежде, что восстание погаснет само по себе, получил из Петербурга приказ арестовать мятежника.

Лыкошин отправил в Великую Губу солдат, но мятежники разоружили их. Вернувшись, солдаты рассказывали, что крестьяне вооружены, кроме самопалов, рогатинами и пестами.

Лыкошин понял, что дальнейшее бездействие будет стоить чинов, орденов и свободы. Он двинул в гнездо восстания—деревню Кижж—крупные силы. После жестокого боя вой-

ска опять отступили. Ламсдорф донес, что мятежники идут сражаться, соблюдая все правила военного искусства. Пока солдаты подходили к Кижам, утопая в снегах, отряды лыжников-крестьян окружили их и нанесли сокрушительный удар с тыла.

Численность мятежников Ламсдорф определил в девять тысяч человек. Он высказал предположение, что во главе восставших стоит умелый и упорный руководитель.

— Петрушка Соболев, не иначе, — заметил Лыкошин, выслушав донесение.

К тому времени обстановка складывалась

для Лыкошина благоприятно. В Москве началась чума, и Екатерина как бы забыла о мятеже в Олонецком крае. Можно было выждать еще малость, благо на заводе от безделья шла картежная игра и гремели балы.

Лыкошин во всем, кроме военных дел, — в игре и любви — был человеком азарта. То был полководец второго ранга, ленивый и хитроватый. Военной славе он предпочитал славу балльных зал, где блеск вышитого мундира



не требовал изнурительной погони за наглым холопом.

Губернатор торопил Лыкошина. Он опасался, что в Заонежье воскресли нравы Великого Новгорода и крепнет крестьянская республика, грозящая всему краю жакерией.



— Полноте, ваше сиятельство, — отвечал благодушно Лыкошин, — вот снежок растает, тогда мы и подпалим зад у ваших новгородцев. Воины, как говаривал Юлий Цезарь, даже бездействуя, бывают ужасны врагам.

В начале лета 1771 года пришло известие о возмущении яицких казаков, и Лыкошин получил из Петербурга предписание, где было сказано:

«Поелику олонецкие мятежники могут обнадежиться преступным возмущением яицкого люда, надлежит их разбить тотчас же с силой и решимостью, не медля, подобно прежнему, и не боясь причинить огорчительность государыне великим пролитием мужицкой крови».

Лыкошин выступил в Кижы с пехотой и артиллерией. Мятежники так привыкли к лености и бездеятельности этого генерала,

что допустили войска войти в деревню и засели за церковной оградой.

Начались хитроумные переговоры о сдаче. Петр Соболев отвечал генералу резко и весело. Лыкошин багровел от гнева, чувствуя, что этот смерд находчивее его, генерала, чье острословие стало притчей игорных домов.

Дабы внести раздор в ряды мятежников, Лыкошин подослал к ним Каллистратова, окончательно раскаявшегося и перешедшего на сторону начальства. Мятежники Каллистратова избили и выгнали.

Воспользовавшись сумятицей с Каллистратовым, Лыкошин подвез пушки и навел их на церковный двор. Мятежники смеялись и показывали артиллеристам кукиши. В церкви шла непрерывная служба: Соболев был уверен, что офицеры не решатся стрелять по храму во время богослужения. Он ждал предательства, но не допускал мысли о кощунстве,—такова была дикая логика екатерининских времен.

Лыкошин снял шляпу с плюмажем и махнул артиллеристами.

Ударил первый залп. Мятежники смешались. Раздались крики, брань, потом одиночные выстрелы.

— Картечь, картечь!—кричал в испуге Лыкошин, и залпы били в упор в толпу крестьян.



Три часа мятежники сопротивлялись, прячась в церкви и среди могильных плит. Убитых сносили в алтарь. После каждого залпа от церкви отлетали щепки. Свинец дымился и распространял кислый дым. Кровь,



густая, как слюна, капала в пыльную крапиву.

К вечеру мятежники сдались. Восемьдесят человек во главе с Соболевым были согнаны на завод, закованы в цепи и отправлены в Петербург.

Всем им, по приговору сената, вырвали ноздри, выжгли на лице знаки: на лбу букву В, на правой щеке—О, и на левой щеке—З, что означало слово «возмутитель», и погнали на каторгу в Пелым.

Клейма для знаков отлили на Александровском заводе.

Г Л А В А Д Е С Я Т А Я

Ранней весной Лонсевиль был арестован и отправлен под конвоем в Петербург.

Везли его небритые солдаты, охрипшие от бессоницы и водки. В возке было тесно. Угловатые тесаки били по ногам. От солдат несло сырым табачищем и потом. На ночлегах конвоиры били вшей, поили Лонсевиля жидким чаем и безо всякого успеха любезничали со злыми хозяйками, пытаясь выклянчить вареной картошки и каши.

В Петербурге Лонсевиль был доставлен к начальнику жандармской команды.

Лонсевилю предъявили обвинение в распространении на Александровском заводе крайних мыслей, подрывающих устой империи:

— Я офицер французской армии.—Лонсевиль посмотрел в глаза жандармского генерала, напоминавшие по цвету спитой чай.— Я имею право высказывать любые мысли. Вам известно, что в этой стране я нахожусь помимо воли. Неразумно требовать, чтобы



человек, подчинившийся жестокой судьбе и живущий в обстановке враждебной, оправдывал варварство, столь же ему чуждое, как вам чужды идеи революции.

Лонсевиль замолчал. В кабинете стояла густая тишина. За высокими окнами, за туманом серенького денька, во дворе казарм, желтых и величественных до скуки, глухо гремел барабан.

— Да, вы офицер, но бывшей армии Бонапарта,—язвительно ответил генерал, потер

сапогами один о другой и вздрогнул от пронзительного скрипа голенищ. Лицо его рванула гримаса отвращения. Обдуманый ответ был сорван. Он вылетел из головы от этого омерзительного скрипа. Генерал никак не мог его припомнить и включить в полные изящества французские периоды. Он молчал. Молчание длилось так долго, что становилось тягостным и неприличным.

Лонсевиль сказал требовательно:

— Вы не можете карать меня как подданного иностранной державы. Империя Бонапарта разгромлена. Война окончена. Лучшим исходом из неприятной истории было бы высочайшее разрешение вернуться мне во Францию.

Генерал поднял глаза от сапог. Хотелось поскорее избавиться от изможденного и скупого на слова французского офицера, пойти переменить сапоги и упечь в яму негодяя-сапожника.

— Я представлю вашу просьбу на благоусмотрение императора.

Генерал встал, и сапоги, задепившись один за другой, снова взвизгнули зло и оглушительно. Лонсевиль посмотрел на ноги генерала. Тот покраснел и пробормотал быстро и резко:

— Вы свободны. Разрешительные бумаги будут вскорости высланы на Александровский завод, где вам надлежит их дожидаться.



Как передать чувство облегчения, охватившее Лонсевиля после этих слов? Оно было подобно порыву соленого ветра с моря. Сбегая по каменной, веющей холодом лестнице, Лон-

севиль взглянул на себя в зеркало. Его глаза и волосы молодо блестели.

Лонсевиль быстро накинул шинель и вышел на набережную.

Под мостами шуршал зернистый ладожский лед. Величие тумана, несшегося над гранитной столицей, напоминало океан, берега Бискайи, где Лонсевиль провел часть детства.

У Лонсевилья в Петербурге не было друзей. Единственным знакомым был архитектор Воронихин, приезжавший на Александровский завод заказывать чугунные базы для колонн Казанского собора. Лонсевиль пошел к нему.

Перспектива величественного города разворачивалась перед ним, смягченная мглой. О чугунные решетки мостов и бронзовые плечи памятников ударялись капли дождя. Они падали с черных ветвей. Сады источали запах лежалой листвы, сбрызнутой спиртом.

Воронихина Лонсевиль застал за черчением. Сухой и седоватый архитектор заканчивал постройку Казанского собора.

Обстоятельства встречи с Воронихиным Лонсевиль почти забыл,—от утомления у него началась лихорадка. Он запомнил лишь утреннюю прогулку по городу в сопровождении архитектора, рассказ Воронихина о своей жизни—здесь Лонсевиль в последний раз использовал склонность к изучению биогра-

фий,—строгие мосты и садовые решетки, украшавшие Петербург и изготовленные на Александровском заводе.

Они долго стояли у моста через Мойку, отлитого Гаскойном. Воронихин восхищался изгибом арки и обработкой мельчайших частей, напоминавших нагромождение индийских плодов. Налет на перилах моста был зеленоват, как цвет петербургского воздуха.

Беседуя с Воронихиным, Лонсевиль вспомнил почему-то о Моцарте, Байроне, Гете—обо всех людях, живших блистательно и мудро и возвеличивших неповторимую эпоху своим существованием.

Жизнь Воронихина, выслушанная Лонсевилем с величайшим вниманием, несколько примирила его с Россией. Прощаясь с архитектором, он даже почувствовал сожаление, что покидает эту страну. Он сравнивал ее с петербургскими туманами,—за грязной их пеленой нет-нет да и проглянет светлое золото адмиралтейской иглы.

Воронихин был крепостным графа Строганова, владельца Пермского края. Архитек-



тор родился в городке Усолье—диком и сером, как волчья шкура, окруженном болотами, лесами и соляными варницами. Он прожил детство, ничем не отличное от детства крестьянских детей.

В отрочестве способности к рисованию вывели его из среды неуклюжих и запуганных товарищей. Его послали в ученье. Он жил в Петербурге, Риме, Флоренции, и багряная итальянская осень, гравюры Пиранези и мраморы Рима создали из курносого усольского мальчишки величайшего архитектора девятнадцатого столетия. Он научился воплощать в бронзе и граните чужие мысли о славе. Он строил величественный Казанский собор, не имевший на первый взгляд веса—насколько соразмерны были его объемы.

Из Петербурга Лонсевиль уехал на рассвете холодного апрельского дня. В двух верстах от столицы, когда был еще виден шпиль адмиралтейства, возок застрял в грязи.

Грязь и нищета снова окружили Лонсевилья, сменив холодное великолепие петербургских проспектов.

Облик страны был ясен. Лонсевиль закутался в шинель, откинулся в глубину возка и уснул. Чухонское небо побрызгивало частым дождем.

Г Л А В А О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я

В селе Подпорожье, на Свири, жила знаменитая плакальщица, бабка Анфиса. Изба ее стояла над рекой. По реке несло онежский лед, громыхавший в каменных порогах. Конец апреля выпал жаркий. Березовые рощи качались в зеленом дыму маслянистых почек. Сильный ветер раздувал по небу клочья облаков.

Рыжий ямщик Лихарев пришел к бабке с великой просьбой отпеть проезжего, умершего от горячки. Бабка накинула шаль и пошла на почтовую станцию.

Проезжий лежал в амбаре в длинном гробу, сколоченном из неструганных досок.

— Где же его хоронить-то?—спросила бабка.

— Да, надо быть, повезу на завод.

— А какой он веры?

— Французской. Больно строгий до себя человек. Надясь вызвал меня, сам чуть дышет. Письмо дал. Отправь, говорит, с завода на родину. Велел мне достать из баула значок

военный, приколот его к вороту шинели, накрылся той самой шинелью и помер.

— Говорил чего?

— Да чего-то говорил не по-нашему. Смотрительша с им была.

Бабка Анфиса вошла в амбар, откинула



платок с лица покойника и ахнула,—похож! Похож на сына Ивана, убитого на германской земле, вот как похож!

Бабка обняла тело Лонсевиля, прижалась головой к медному значку на вороте серой шинели—номеру наполеоновского полка, где служил Лонсевиля,—и запела звёнящим, томительным голосом.

Анфиса никогда не пела обыкновенных причитаний. Она их придумывала около каждого гроба, и почему-то каждый покойник был ей жалок и мил, как родной.

«Вот весна пришла, за окном стоит, а ты лежишь, соколик милый, ничего не надобно тебе—ни слезы материнской, ни жалости девичьей. Причалали ладья к последнему небесному плоту. Сам господь к тебе идет, сам господь подымает тебя,—знает, помер на далекой сторонushке».

Лихарев утер армяком нос—больно жалостливо пела старуха.

«Горе великое ходило за тобой по земле. Сердце кровавое носил, боль сиротскую. Нешто можно жить одному на чужих глазах, помереть в пути да в распутице».

Только три человека плакали над трупом инженера по литью пушек Шарля Лонсевия—бабка Анфиса, ящик и жена смотрителя почтовой станции, молодая приглядная женщина с насурмленными бровями. Прощаясь, она поцеловала Лонсевия в лоб, и крупная слеза упала на мертвое лицо и запуталась в ресницах.

Лихарев перекрестился, закрыл гроб крышкой и увязал мокрой веревкой.

В деревне Роп-ручей, вблизи Петрозаводска, тележку Лихарева остановили жандармы. Они отобрали у Лихарева все вещи Лонсевия. Только письмо Лихарев скрыл на груди.



Жандармы открыли гроб, осмотрели умершего и приказали Лихареву везти тело в Петрозаводск на немецкое кладбище да поменьше болтать в дороге.

Лихарев повздыхал и поехал. Дорогой он выпил и беседовал со своим немым спутником, бахвалясь, что перехитрил жандармов и не отдал письма, за что будет ему, Лихареву, богатая мзда на небесах.

— Родимый,—бормотал Лихарев, икая на ухабах.—Ты на меня надейся. Я все постигаю. В свой срок ты, видать, помер. Не в смерть бы я тебя завез, так в острог, а он, надо быть, горше смерти.

Через сутки тело Лонсевия лежало в холодной часовне на немецком кладбище в Петрозаводске.

Письмо Лонсевия Лихарев передал по начальству, и оно попало к Армстронгу.

Армстронг вызвал Баралья, запер кабинет на ключ, вскрыл пакет и потребовал перевести письмо на английский язык.

— Было бы недостойно джентльмена,—сказал он,—вскрывать частные письма, но мы имеем дело с человеком, заподозренным в якобинстве. Прямой долг повелевает мне узнать содержание пакета.

— Письмо на имя женщины... Марии Трините,—тихо промолвил Бараль.

— Все равно, читайте!

«Я был арестован, отвезен в Петербург, но после допроса получил свободу и разрешение вернуться во Францию.

Впервые за годы сердечных лишений и одиночества я испытал ощущение полного счастья. Но напрасно. На обратном пути в Петрозаводск я заболел тягчайшей лихорадкой.

Я лежу на почтовой станции в деревне Подпорожье, в трех днях пути от Петербурга.

Не пугайтесь, если на этом листе Вы найдете следы крови. Невежественный здешний лекарь поставил мне пиявки к вискам, и все лицо у меня залито кровью. Я очень слаб, часто впадаю в беспамятство. Я умру не позже чем ночью.

Я вспоминаю свою жизнь и заклиная Вас: любите память обо мне, иначе мысль о смерти становится невыносимой. Вы знаете, что я был честен, ненавидел рабство и варварство и любил свободу, мудрость и веселье. Всю глубину человеческого несчастья и низости я узнал только в России, на Александровском заводе.

Я бы вернулся во Францию иным,—не офицером победоносной армии, пахнущим пылью походов и сиренью рейнских садов, а мстителем и солдатом. Я жил бы во имя возмездия, во имя мудрости и блеска человеческого ума, задушенного королевским режимом.

Я любил и люблю Вас. Здесь, в черном мраке этой ужасной страны, я готов кричать от отчаяния и плакать по Вас, как плачет ребенок по убитой на его глазах матери.

Я поступил предусмотрительно. Прежде всего я написал адрес на конверте, чтобы отправить письмо, даже если оно будет незаконченным.

Опять вечер. Над черными елями там, далеко, где Париж, восходит луна. Я прислушиваюсь к собственным стонам. Почему я не умер под Бородиным или на Висле? Комната залита заревом луны. Светило ночи восходит над обширной страной очень медленно, и столь же медленно иссякают мои последние силы. Я хотел бы дожждаться солнца...»

— Все,—сказал Бараль.—Письмо не дописано.

— Светило ночи,—пробурчал Армстронг, и кривая усмешка сползла с его губ и исчезла в дыму коротенькой трубки.

— *Astre de nuit*,—повторил он по-французски.—Господин Бараль, для чего нужны на земле поэты?

— Для усовершенствования в языке, сударь.

— Но не для литья пушек, я полагаю. Каждая страна прекрасно обошлась бы без поэтов. К сожалению, закон разрешает оплачивать человеческую болтовню. Письмо этого

поэта отправьте по адресу и сообщите от себя обстоятельства его смерти. Надо уважать чувства близких.

Армстронг выколотил трубку о кандалы, издавшие мелодический звон.

Бараль поклонился и вышел. Он нес письмо, брезгливо держа его за уголок кончиками пальцев. Так выносят в сорное ведро убитую мышь...



Г Л А В А Д В Е Н А Д Ц А Т А Я

«Получив наисекретнейшее предписание вашей светлости, я тотчас же выехал с двумя жандармами на ближайшую к Петрозаводску почтовую станцию Роп-ручей, где и дожидался проезда бывшего офицера французской армии, инженера Александровского завода Шарля Евгения Лонсевиля.

На четвертые сутки, когда я потерял всяческую надежду задержать одного Лонсевиля, полагая, что он, предупрежденный неизвестными лицами, скрылся, в Роп-ручей приехал ямской крестьянин Лихарев, доставивший сосновый гроб, обвязанный веревками, и вещи, принадлежащие Лонсевиллю.

Вещи были отобраны и препровождены в канцелярию его высокопревосходительства господина Олонецкого губернатора.

Гроб был вскрыт, и в нем обнаружено тело помянутого Лонсевиля, завернутое в военную французского образца шинель с номерным знаком 37-го савойского полка.

Из опроса ямского крестьянина Лихарева, равно как и из сбозрения тела, оказалось, что Лонсевиль умер от горячки в селе Подпорожье.

Тело по моему приказанию было немедленно отправлено в Петрозаводск и предано земле безо всякой огласки.

В виду вышеизложенных обстоятельств мною не мог быть выполнен приказ вашей светлости о тайном задержании государственного преступника Лонсевиля на пути его из Петербурга в Александровский завод и препровождении оного Лонсевиля в Шлиссельбургскую крепость для пожизненного заключения, дабы содержать его там без фамилии под номером 26.

О последующем жду распоряжений.

Вашей светлости покорнейший слуга ротмистр Тучков».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В двадцатых годах прошлого столетия, лет через десять после смерти Лонсевиля, в Петрозаводск приехала французская гражданка Мария Трините, назвавшая себя женою Шарля Лонсевиля.

Узнав о смерти Лонсевиля, Трините решила ехать в Россию, чтобы видеть те места, где он жил, и поговорить с людьми—свидетелями его последних дней. Готовясь к поездке, в течение нескольких лет Трините изучила русский язык и изъяснялась на нем довольно свободно.

Она прожила в Петрозаводске с весны до поздней осени. Очень часто она отправляла письма во Францию своей подруге Рашель Мартисон.

Судя по письмам, Мария Трините обладала острой проницательностью и склонностью к меланхолии. Многие места из ее писем заслуживают лучшей участи, нежели тление в пахнущих сухим жасмином семейных архивах Мартисон.

«Сегодня начальник завода мистер Фуллон,—писала Трините,—был настолько любезен, что сам вызвался показать мне мастерские.

Представь себе, Рашель, грязную кузницу в Руане, увеличенную в двадцать раз,—это и будет тот завод, где страдал и умер Шарль.

Помещения блестят от окаменелой копоти. Рабочие похожи на бородатых негров. Едкий дым выжигает глаза. Люди работают молча и безо всякой спешки. Они ничем не отличаются по своей покорности от седых лошадей, таскающих из мастерской в мастерскую раскаленные куски железа.



Здесь все из дерева. Весь завод приводится в движение водой, и шум ее господствует над маленьким городом.

Фуллон—весьма просвещенный англичанин. Он лично знал шотландского писателя Вальтера Скотта.

Он рассказал мне историю этого завода со времен царя Петра, добавив, что неудивительно, если твердую копоть на стенах я приму за окаменелую кровь.

— Этот завод,—сказал мне Фуллон,—олицетворяет режим своей страны.

Слова эти были произнесены около исполинской плющильной машины. Вообрази себе стальные плиты. Они сдавливают с чудовищной силой раскаленные шведские пушки, превращая их в куски чугуна.

Фуллон показал тонкой рукой в черной перчатке на эту машину и сравнил ее с Россией. Мы говорили по-французски, и никто нас не мог слышать.

— В противоположность своим соотечественникам, английским директорам завода,—добавил Фуллон,—я стремлюсь поскорее покинуть Россию и вернуться в Англию. Я не ощущаю особого удовольствия от мысли о всех своих предшественниках. Завод этот насчитывает свыше ста лет существования. Он был построен в 1703 году, еще при Петре. Начальником завода в те времена был голландец Вилльям Генин.

Он рассказал мне историю Генина. Она заслуживает того, чтобы тебе ее передать.

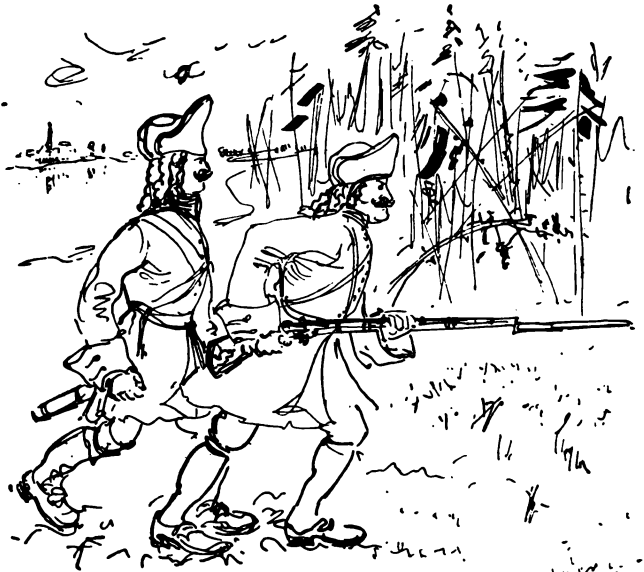
Генин отличался суетливостью и добродушием. Еще в молодости, в Голландии, он изводил старушку-мать любовью к кошкам. Он подбирал на улицах котят и приносил их домой в карманах камзола. Котята пачкали полы, и старушка весь день затирала кошачьи следы лавандовым маслом.

Однажды Генин привел вместо котенка не-
отесанного русского парня. Парень заблудил-
ся в ночном Амстердаме. Он грубо хохотал,*



коверкал голландские слова и до утра сотря-
сал комнаты храпом.

За утренним кофе старушка хотела ска-
зать русскому, что у него в носу полипы, но
Генин строго посмотрел на нее и промолвил,
что их скромный дом осчастливлен пребы-
ванием русского императора. Старушка про-
лила кофе, а император заржал, как перше-



рон, и похлопал ее по плечу. Старушка сделала книксен и скрылась на кухне.

Через год Генин уехал с русским дарем в Москву. Сначала он обучал боярских сыновей артиллерийскому делу, потом был назначен командиром Петровского пушечного завода.

Завод работал скверно. Управители погрязли в лихоимстве. Рабочие и рекруты разбегались сотнями. Тогда добродушный Генин выпустил кошачьи когти,—он не хотел рисковать своей головой. Он сажал на кол

чухонцев и порол рабочих. Он ходил по заводу, охал, кричал и жаловался на жестокость Петра.

Слух об этом дошел до царя, и на завод прислали следить за Гениным фискала Ижорина.

Генин обиделся. Он заваливал Петербург жалобами на несносные притеснения от Ижорина.

Он хвастал своими успехами и угрожал бросить завод, если фискал немедленно не будет отозван.

Царь молчал.

Сообщения Генина, что из отлитой им тысячи пушек разорвалось только три, что шпажные клинки с Петровского завода не хуже солингенских, что ружья завод изготовляет по лучшему штеттинскому способу, не производили на Петра никакого впечатления.

Царь молчал, а Генин пугался и учащал порки.

Молчание царя предвещало пытку в Тайной канцелярии и смерть.

Вокруг завода по топким дорогам были выставлены караулы, ловившие беглых рабочих.





Выручил случай. Генин знал пристрастие царя ко всяким целительным средствам. Царь страдал от дурной болезни и набрасывался на каждое новое средство, надеясь на выздоровление.

Рабочий завода Рябоев открыл вблизи Кончозера источник целебной воды. Генин дал Рябоеву три рубля и приказал молчать. Он поставил около источника камень с надписью, что воды открыты им, Вильямом Гениным, и отправил в Петербург донесение, где именовал новые воды марциальными и звал царя попользоваться ими.

Тотчас же пришло повеление построить около источника летний дворец. Царь приехал с визгливой царицей и принял несколько ванн. Воды помогли. Генин в благодарность был произведен в генералы.

Я вполне согласилась с Фуллоном,—не очень весело иметь за спиной таких предшественников.

Ты знаешь, только здесь, на заводе, я поняла, отчего умер Шарль. Возвращение во Францию его не спасло бы. Как может радостно смотреть на небо человек, видевший, как истязают людей?

Многие впечатления этой страны, подобно грязным пылинкам, проникшим в мозг, вызывают у меня тошноту.

Ты представь себе наглые бакенбарды военных инженеров, невежественных и пьющих водку целыми ведрами, картежную игру, где нет места даже азарту, рабочих, обреченных быть скотами, и скотов, обреченных работать до последнего издыхания, муштровку солдат—их бьют по щекам за вздрогнувший носок сапога,—полную невозможность протеста, рассказы о Сибири, плетях и каторге, злых женщин и тоску этих неопишуемых непролазных дорог, где ямщики хрипнут от самой подлой брани,—представь все это в сиянии чистейшего неба, в свежем ветре с озер, в душистом молчании лесов, и ты поймешь,



как прекрасна эта страна и как нищ и жалок народ, ее паселяющий.

На заводе отливают надгробный памятник Шарлю. Я поставлю его и уеду во Францию:

Но я привезу землю с могилы Шарля, землю этой страны, и посажу в нее в нашем саду лучшие цветы, какие мне дает отец. Пусть хоть эта холодная земля радуется их благоуханию».

«Третьего дня наконец,—писала Трините,—поставили над могилой Шарля чугунный памятник и ограду, похожую по тонкости работы на кружево.

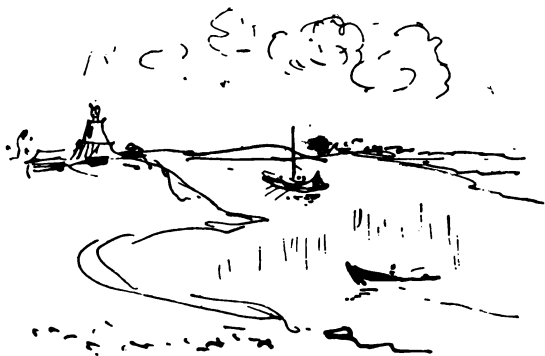
На памятнике отлиты мои стихи. Ты их должна знать,—они начинаются словами из последнего письма Шарля:

*Astre de nuit, je vais à ton pâle flambeau,
Je veux m'avancer vers ce sacré tombeau.*

Теперь мне здесь нечего делать. На-днях я уезжаю. Меня пугает обратный путь. Какая предстоит горечь от зрелища плоских и бесцветных озер под таким же плоским и сереньким небом...

Мне придется ехать водой. Как передать тебе монотонность этого пути по каналам на скрипучих и медленных баржах, простаивающих сутками около безлюдных деревень? Все будет пропитано смрадом воды, гниющей в трюмах, и едким табаком,—его курят здешние рабочие.

Необходимо брать пищу до Петербурга. В дороге ничего нельзя купить, кроме чая, по-



стного сахара, пахнувшего салом, и черствого хлеба. Когда я вижу этот хлеб, колючий от соломы, я почему-то вспоминаю слезящиеся глаза мужиков и их растрепанные ветром рыжие бородавки,—одно из самых ярких впечатлений моего путешествия по России.

— Да, путь будет печален, как возвращение с похорон. Здесь я оставляю свое сердце. Здесь умер Шарль, который так жестоко и наивно страдал в силу своего чистосердечия и жажды высшей справедливости».

«Вчера я пережила первый радостный день в России.

Не помню, писала ли я тебе, что мистер Фуллон посоветовал мне познакомиться с его секретарем Юрием Лариным. По словам Фуллона, Ларин, человек весьма начитанный и

обладающий живым умом, был искренним другом Шарля.

Но, к несчастью, незадолго до моего приезда в Россию Ларин был послан в Англию, чтобы завербовать там для завода несколько литейных мастеров, и возвратился в Петрозаводск только третьего дня.

Вчера, 15 августа, завод не работал по случаю праздника успения, и я совершила большую бестактность: я пошла к Ларину, даже не предупредив его о своем визите.

Я уверена, что ты меня не осудишь. Ты знаешь, как мне дорога память о каждом слове и каждом поступке Шарля. Кто лучше Ларина мог мне рассказать о его последних днях?

Я очень волновалась. Меня встретил высокий приветливый человек с пытливыми и несколько насмешливыми глазами.

— Чем я могу служить вам, сударыня?— спросил он меня по-русски.

Я назвала себя. Спазмы сжимали мое горло.

— Так это вы жена Лонсевиля?— тихо спросил Ларин по-французски.— Бог мой, какую радость вы принесли мне своим приездом!

Он волновался не меньше меня. Он нервно ходил по комнате и непрерывно говорил. Он вспоминал день за днем жизнь Шарля, передавал его рассказы, его гневные речи. Он говорил о безмерной любви к Шарлю простых

людей и рабочих, о неожиданном аресте, о том, что только смерть спасла Шарля от пожизненной каторги, и, может быть, только благодаря этой смерти он избавился от потери рассудка в глухих казематах Шлиссельбургской крепости.

— Лонсевиль был человеком прекрасных душевных порывов,—сказал он, остановившись и глядя за окно, где золотые березы осторожно сбрасывали на землю легкие листья.—Ему я обязан тем, что перестал быть глупым юнцом, вздыхающим о революции, как о любимой женщине. Он зажег меня ненавистью к тирании и холодной решимостью. Он вложил в меня мысль, что освобождение невозможно без жестокого уничтожения угнетателей. Он заставил меня изучить историю французской революции и творения великих мыслителей. Через месяц после знакомства с ним я с дрожью в сердце понял, что этот человек любит наш народ умной и горячей любовью борца, тогда как мы—холопы в рединготах—льем слезы над жалкой долей холопов в армяках лишь за бутылкой водки.

Ларин быстро отошел от окна и засмеялся, всплеснув руками.

— Сударыня, мы попали с вами в поповскую мышеловку. Сегодня праздник. По нашим обычаям, священники с причтом ходят по домам и служат молебны. Вон, видите, отец

Серафим направляется ко мне, и мы уже не успеем скрыться. Утешительно лишь то, что эта церемония продлится две минуты, ибо отец Серафим изрядно пьян.

Отец Серафим вошел в дом в сопровождении дьякона с таким шумом, точно в залу впустили стадо слонов. Покричав и покадив две минуты около иконы, он супул в губы Ларицу и мне холодный серебряный крест и торопливо сел к столу.

Слуга подал вино и закуску. Выпив рюмку водки, отец Серафим начал несносно хвастаться своим дедом, священником Семеном, жившим в селе Кижы. Он рассказал, что некогда царь Петр на пути в Петербург остановился в этой деревне и зашел в церковь. Он рассеянно слушал торжественную службу и ковырял пальцем иконы, отлитые из чистой меди.

После службы царь подошел к Семену—по словам Серафима, то был черный поп с дикими глазами—и спросил, указывая на иконы:

— Кто отливал?

Семен ответил, что иконы и кресты отлил голландец Бутенат, державший при царе Алексее медный завод в Кижях.

Бутенат был лютеранин, и поп Семен не мог этого снести. Несколько раз он собирал кресты, бил в колокола и устраивал на заводе погромы. Бутенат не выдержал войны с по-

пом и бежал в Голландию, а завод крестьяне разворовали по бревнам.

— Поп,—сказал Петр тихо,—про тебя мне доносили многое. Кожу сдеру!

Поп воздел руки вверх, вытаращил глаза и крикнул:



— Еретиков изведу заодно с их семенем, — царя не боюсь!

Петр сплюнул и вышел.

— Каков прадед, таков и правнук, — сказал мне Ларин по-французски. Он был раздосадован хвастовством и нечистоплотностью священника, евшего мясо руками.

Отец Серафим вытер бороду, где застряли кусочки вареной моркови, попрощался и ушел, сотрясая прихожую топотом глубоких кожаных калош.

— Я не могу выносить дым ладана,—поморщился Ларин:—Он напоминает мне похороны и вызывает мигрени. Ежели вы не устали, то не лучше ли нам пройти на набережную?

Я с радостью согласилась.

Мы ходили по набережной до позднего вечера.

Свечи в редких фонарях горели неподвижно и тускло,—над озером установилось безветрие. В темной воде отражались печаль-



ные звезды. Из заброшенных садов был слышен запах вянувших листьев.

— Вы не должны ненавидеть нашу страну,—говорил мне вполголоса Ларин.—Жажда освобождения терзает лучшие умы. Молодые люди, совершившие поход во Францию, привезли оттуда не только зажившие раны и обветренные лица, но и порох революционных надежд. Россия охвачена предрассветным холодом и тревогой. Не принимайте этот холод за дыхание смерти. Как иначе, как не предвозвестником зари мы можем назвать нашего поэта Пушкина? Известны ли вам его стихи о карающем кипжале? «Как адский луч, как молния богов, немое лезвие злодею в очи блещет, и, озираясь, он трепещет среди своих пиров...» Пушкин—это поистине молния богов.

Над озером блеснула тусклая зарница, и лишь минуту спустя прокатился далекий гром. Ларин засмеялся.

— Осенняя гроза,—промолвил он и остановился.—Прекрасное будущее приближается неотвратимо. Когда оно наступит—нам не дано знать. Ради него жил последние годы ваш муж, беспощадно вырвавший из своего сердца все черты наивности и благодушия. Не впадайте в отчаяние,—жизнь его, сына чужой страны, была нужна нам как пример высокий и притягательный. Какая беда в том, что он

страдал нашими горестями? Неужто вы склонны к мысли, что революции достоин лишь народ французский?

— Нет, — горячо возразила я. — Нет, истинное величие ума состоит в том, чтобы понять, что вся земля является нашей общей отчиной. Вы успокоили меня. Жизнь Шарля в России не кажется мне отныне столь бесплодной, как я думала раньше. Но больно, что он не смог осуществить все величие своего духа. Он мог гореть блистательнее и оставить среди вас более глубокий след.

— Сударыня, — сказал Ларин и показал мне на небо, — звезды светят с неизмеримо меньшей яркостью, чем солнце, но в наши зимние ночи они освещают путь и служат путеводными знаками. Нет великих и малых дел, ежели человек всем сердцем стремится к великому и справедливому, ибо в этом случае все дела имеют великий вес и последствия.

В город мы вернулись через темный и облетевший сад. Листья шумно пересыпались под нашими ногами. Я как бы выпила легкого вина, — внезапно Россия показалаась мне стравой, любимой до боли в сердце».

«Завтра я уезжаю. Безоблачные дни сменились ненастьем. С Белого моря дует неровный ветер и несет снег попережку с дождем. Как говорят русские, «дождь сечет». Какое



иное сравнение мог придумать народ, привыкший к тому, что его секут постоянно? .

Дождь сечет. Пейзаж за моими окнами приобрел вид картины, косо повешенной на стене. Косые струи дождя, косой дым из низких заводских труб, косые деревья, наклонившиеся люди, пробивающиеся через дождь

и ветер, наконец косою полет ворон, зловеще каркающих над пустырями.

Перед отъездом я видела забавное зрелище—богослужение под дождем, панихиду по умершей тридцать лет назад императрице Екатерине.

Шеренги солдат стояли в жидкой грязи. Генералы кутались в черные плащи. С желтых волос отца Серафима вода текла на черную ризу, и певчие пели уныло и хрипло, прикрывая рты посиневшими руками.

Рабочие стояли поодаль, глядя в землю и крестясь быстро и машинально. Они все были в черном, тяжелых сапогах и напоминали толпу галерников, слушающих напутствие перед отправкой на каторжные работы.

Потом запели «вечную память». Генералы, солдаты, рабочие, чиновники и женщины в кринолинах опустились на колени в желтую от навоза грязь. Хоругви склонились до земли от налетевшего ветра. Повалил серый липкий снег. Он скрыл последний жалкий спектакль России.

У меня болит сердце от сострадания к этому народу.

Я прошла на кладбище и положила на могилу Шарля несколько белых астр.

Ветер тотчас же унес их, будто Шарль отбросил их рукой, протестуя против моего отъезда.

Я расплакалась. Боже, что мне делать? В этой стране я оставляю свою душу. Мне не следовало приезжать сюда».

«Ларин, провожая меня, дал мне несколько писем своим друзьям в Петербурге.

Рашель, я впервые увидела людей, столь же полных нервическим ощущением нашего грозного времени, как полон им был Шарль. Я встретила русских, соединявших в себе гражданскую доблесть с самой привлекательной мягкостью славянской природы.

Один из них—я не буду называть тебе его имени,—выслушав горестную историю Лонсевиля, сказал мне:

— Сударыня, придет время, когда наши потомки вычеканят новую надпись на надгробном памятнике Лонсевиля. Благородные его стремления не получили развития. Императорская Россия убила его, как убивает лучших детей народа. Отныне—он наш.

— Какую надпись?—спросила я.

— Вы владеете русским языком?

Я утвердительно наклонила голову. Он понизил голос и прочел, волнуясь:

Товарищ, верь, взойдет она,
Заря пленительного счастья.
Россия вспрянет ото сна
И на обломках самовластья
Напишет наши имена.

Мы стояли на набережной Невы около Летнего сада. Я подняла голову и сквозь слезы увидела в лунной голубой полночи корабль, который должен был увезти месья во Францию. Матросы зажигали на его бортах восковые фонари. Облака, подобные низкому дыму, быстро неслись со стороны моря.

— Он пац,—повторил русский, и я поняла, что отныне эта прекрасная и несчастная страна так же близка мне, как Франция».



ПРИМЕЧАНИЯ

Аустерлиц — городок в Моравии, где зимой 1805 года Наполеон нанес жестокое поражение соединенной русско-австрийской армии.

Берг-коллегии — ведомство, управлявшее в XVIII веке горными металлургическими заводами.

Обер-берггауптман — высший чин инженера по горному делу в XVIII веке.

Росси — итальянский архитектор, строитель Александринского театра в Петербурге.

Архистратии — высший «чин» среди ангелов.

Карронский способ литья — плавка руды горячим воздухом. Впервые был введен на Карронском литейном заводе в Шотландии.

Брандтугель — зажигательное ядро, начиненное горючими веществами. Осиан — шотландский певец (бурд) III века.

«По морско согласие» — одна из форм старообрядчества. Была распространена по всему Олонецкому краю.

Шивельник — рабочий, изготавливающий из глины формы для литья.

Янус — римский бог входов и выходов; изображался с двумя лицами.

Руэз дэ Лиль — французский поэт и военный инженер. Автор «Марсельезы». Умер в нищете.

Галерники — каторжники. В средние века преступников приговаривали к работе в качестве гребцов на галерах. В России галерные каторжные работы существовали при Петре Первом.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Редактор Г. Эйхлер. Техрет Л. Плакунова. Сдано в производство 21/II-33 г. Подписано к печати 7/IV-33 г. МГ 3783. Инд. Д-7. Формат 72×105 1/2. 3,625 печ. л. 41 000 зн. в п. л. Уполн. Главлита Б-29987. Тираж 20000. Зак. 6569. Третья фабрика книги Огива РСФСР треста «Полиграфкнига» «Красный пролетарий». Москва, Краснопролетарская, 16.





wub

Цена 1 р. 95 к.

Переплет 1 р.

1938

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ